

Наверное, мне было шесть лет, потому что помню, что в школу ещё не ходил и был очень вольным человеком, то есть мог целыми днями мотаться по посёлку и за посёлок, у речки или около леса — в лес не разрешалось. Послушным ребёнком я не был, но был трусоватым, а думали, что послушный, потому не убегаю в лес и не теряюсь, как другие мальчишки...

Зато у речки, и в речке на песочной мели, и в камышах у деревянного моста, и под мостом, где часто отлеживались на камнях речные змейки, — их не боялся, — там в хорошую погоду мог проторчать с утра до вечера, не вспомнив про обед. На берегу, что не спускался к воде, а просто уходил под неё будто бы вовсе без всякого наклона, на прибрежном лугу цвели жёлтые цветочки, несчитанное множество жёлтых цветочков — издалека весь берег до самой воды виделся жёлтым, — цветки назывались лютиками, и до известного времени ничего необычного в их названии мне не слышалось, потому что ещё раньше, чем в шесть лет,

знал, что если корова нажрётся лютиков, то запросто подохнет. Лютик — от слова «лютый». Лютая зима, к примеру. Это такая зима, когда кто-нибудь из деревни-посёлка не дошёл до железнодорожной станции и замёрз, и лежал потом у дороги прямой, как палка, будто ему вообще холодно не было.

Значит, в то лето мне было шесть лет. Я бежал на речку вдоль улицы, попутно разгоняя гусей, уток и куриц, дразня собак, тех, что на привязи, кинув камень в забор, если забор, и палкой помахав перед носом, если дом без забора, а таких было несколько, недавно отстроенных; деревня подтягивалась к речке, что текла не вдоль деревни, как в хороших деревнях, а поперёк, в стороне, отчего и деревня называлась Худобино, хотя, кроме неправильно текущей речки, ничего худого в нашей деревне не было.

Итак, я бежал к речке и у предпоследнего дома, у которого не только забора, но и палисадника ещё не было, увидел «козьявку» — так обзывались девчонки. Козьявка сидела на корточках под окном без наличника ещё совсем рыжего дома и что-то строила из сосновых щепок — рядом их целая куча. Самолётом раскинув руки, я спикировал в её сторону, одним ударом ноги разнёс кривое щепочное строение и притормозил лишь на минуту, чтоб дождаться, когда она заревёт, как положено. Она же, не поднимаясь с корточек, только голову подняла и не посмотрела, а стала внимательно разглядывать меня. Была козьявка моего возраста, но смотрела, как смотрят взрослые, такие оказались у ней глаза, в них не было ни осуждения, ни злости, она рассматривала меня, будто решала для себя — я вообще плохой или только сейчас. Она смотрела, а я стоял как дурак и сопел от недоумения, и долго бы ещё сопел, но вдруг был сшиблен с ног и, кувыркаясь, закатился аж на саму кучу сосновых щепок. Прежде чем захныкать от боли в плече, на которое упал, я должен был узнать, кто это со мной так...

А снёс меня Вовка, сын глухонемого кузнеца, мог бы и шибче, потому что был телом похож на бычка, весь такой квадратный, голова прямо из груди росла, ноги толстые, на руках мускулы, как у большого, а старше меня всего на год, хотя в школу тоже ещё не ходил, это я точно помню. Вообще-то Вовка в драчунах не числился. А были у нас такие, что не дай Бог! Мимо не пройдёшь. Вовка же нет. И почему-то этот факт был особенно обидным, и я захныкал. Козьявка поднялась, подошла ко мне, сползшему с кучи щепок, опустилась передо мной на корточки и спросила тихо: «Тебе сильно больно?»

Целая жизнь прошла с тех пор, но я помню этот эпизод, как вчерашний. Вот что было в её вопросе: ты поступил нехорошо, тебя наказали, но не было ли наказание большим, чем следовало? Ей-богу! Именно таков был смысл вопроса шестилетней девочки. До конца дней своих я буду помнить эту фразу и голос, её произнесший...

И опять она смотрела на меня своими громадными взрослыми глазами, а я корчился в муках уже не физической боли, а по стыду, но не за содеянное, а от неспособности выйти из ситуации, как говорится, с наименьшими потерями. Она поднялась и мне подняться не помогла, но дождалась, когда я, наконец, оказался на ногах, словно удостовериваясь, что со мной всё в порядке. Потом вернулась на своё место, присела и стала собирать щепки, что я разбросал. И Вовка присел рядом с ней и молча помогал, подавал ей щепки, а она начала громоздить их друг на дружку ребром и плашмя, и что-то похожее на дом получалось с Вовкиной помощью, а я стоял и пялился на всё это и не мог уйти... И в это время женщина, её мама, конечно, откуда-то из-за дома крикнула звонко: «Лютик! Ты где? Лютик!»

Козьявка поднялась, чуть заметно улыбнулась Вовке и, проходя мимо меня, и мне улыбнулась, ну совсем чуть-чуть, одними губами и бровками-дужками, и, отряхивая платице в синий горошек, ушла за дом.

Мы уходили с Вовкой плечом к плечу, будто ничего промеж нас не было, и разошлись молча в разные стороны. Я пошёл к речке... И больше про этот день в памяти ничего. Нет! Есть. Помню, я пытался понять, что может быть общего у девчонки с жёлтым цветком, от которого дохнут коровы.

* * *

— Итак, продолжаем знакомиться. Лиза Корнева! Кто у нас Лиза Корнева?

— Меня зовут Лютик.

Все мы с первых рядов крутанули шеями туда, где за последней партой среднего ряда стояла девчонка в белом передничке, с белой лентой в светлых волосах. Рядом с ней сидел тот самый Вовка, весь такой чистенький — раньше-то вечно рожа перемазана бывала, — в жёлтой рубашке, рукава были закатаны по самые локти, и руки чистые и без ссадин и царапин...

— Лютик? Это же цветок такой. Разве имя бывает — Лютик? А у меня вот здесь написано Лиза...

— Если меня так зовут, значит, бывает, — отвечала девчонка. Кинув взгляд на нашу молодую учительницу, я враз понял, что и она, как я тогда, не может запросто отвести взгляда от глаз этой странной девчонки, которая не хочет быть Лизой, но хочет быть ядовитым цветком.

— Ну ладно, — сказала учительница, как-то не по-настоящему улыбаясь. — А, ребята? Будем называть Лизу Корневу Лютиком, если она так хочет? А что? Лютик — красивый цветок.

— Жёлтый! — крикнул кто-то.

— Солнце на закате тоже жёлтое. А за окно взгляните, сколько осенью жёлтого цвета. Пушкин из всех времён года больше всего любил осень. Кто знает, кто такой Пушкин? Только не кричать. Когда я спрашиваю, надо поднимать руки. Вот так. Лютик, ты тоже знаешь, кто такой Пушкин? Может, и стих какой, а?

— Только не про осень, — отвечала девчонка своим необычно спокойным голосом. — Про зиму.

— Тогда прочитай нам про зиму...

*Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя...*

Читала она тихо и, как говорится, без особого выражения, но и теперь, спустя жизнь, мне кажется, что я не слышал более проникновенного чтения этих строк. Похоже, и учительнице тоже было не по себе. Она потом ещё долго не могла войти в роль, что-то бормотала про Пушкина, а ещё половина учеников не была опрошена по процедуре первичного знакомства...

К четвертому классу уже вся наша тогда ещё небольшая школа знала, что учится в нашей школе не только самая красивая девочка в мире, но и самая умная, потому что Лютик была абсолютной отличницей. Не «круглой», заметьте, но абсолютной — существенная разница в том, и в оправдание этой разницы могу только сказать, что «круглых» отличников, как правило, не очень-то жалуют в классах. Лютик же — совсем другое дело. Она была нашей всеобщей гордостью ещё задол-

го до того, как в районной газете появилась её фотография, а в девятом — это после «укрупнения», когда наша деревня стала «столицей» колхоза, — на обложке самого популярного в стране журнала «Огонёк» она, наша Лютик, вручала цветы самому Никите Сергеевичу Хрущёву в драмтеатре областного города, куда её, Лютика, специально привозили и отвозили на длинной чёрной машине.

Мать её работала в колхозе бухгалтером. Как много позднее стало известно, их выселили с бывшей оккупированной территории где-то в Белоруссии и предписали жить у нас, в нашем колхозе, и если б мы знали об этом самом факте с самого детства, то уж как благодарны были бы тем, кто переселил...

Детство наше — или, по крайней мере, моё — было счастливым. Мы знали только себя, а нам много ли нужно было для счастья. Конечно, у кого-то мужики не вернулись с войны, но семьи их, наверное, горевали в своих домах, когда их никто не видел и не слышал, а на людях и взрослые, и дети были как все, и у детства к тому же есть счастливая способность не спотыкаться на худом, но пробегать мимо вприпрыжку... Худое обнаруживается по мере взросления, и, взрослея, мы говорим, что жить хуже стало, раньше-то разве так было — совсем не так! Мы в детстве не спрашиваем родителей, счастливы они или нет. Они просто обязаны быть счастливыми хотя бы уже потому, что у них есть мы — и смысл, и цель их жизни. И я вспоминаю своё детство как время всеобщего, поголовного счастья, потому что в своей деревне горя не видел или не замечал, а за пределами деревни, во всей стране, по кино и киножурналам судя, везде было ещё лучше, чем у нас.

Зато у нас была Лютик. К пятому классу она стала такой красивой, что мальчишки перестали в неё влюбляться. В нашей семилетке в шестом классе она была уже председателем пионерской дружины, и на пионерских линейках председатели пионерских отрядов рапортовали ей о всяких хороших делах: о килограммах собранного металлолома, о количестве вёдер древесной золы (ходили по домам и собирали золу на удобрения), о колосках, собранных на полях и сданных «в колхозные закрома», о шефствах над матерьями-одиночками (это у кого мужей побивало, а не у кого дети рождались сами по себе).

В шестом классе Лютик перестала ходить на уроки физкультуры. То есть она приходила, но только смотрела, как мы прыгаем, бегаем, лазаем по канатам, и мы старались вовсю и — подумать только! — знали же, что освобождена, что с сердцем у неё какие-то неполадки, но, в сущности, не верили в это, полагали, что ей, такой, какая она есть — умная и красивая, влюбленная в Павку Корчагина и Овода, — ей не к лицу прыгать через всякие рваные «козлы» и «кони» и болтаться на канате.

Книгу «Овод» она, кажется, знала всю наизусть. На свободных уроках — это когда мы всем классом уходили в лес — она рассказывала последнее письмо Овода к Джемме, на её прекрасных, иногда голубых, а иногда серых глазах выступали слёзы, некоторые девчонки вообще ревели, а мальчишки хмурились и швыркались носами, изображая насморк.

В седьмом классе мы вступали в комсомол, и не все подряд, а лучшие, и, конечно, первым нашим школьным секретарём была Лютик.

К тому времени деревня наша выросла втрое и переползла через речку. Теперь мы жили не в Худобино, хотя это название осталось на столбах с двух сторон деревни, а в центральной усадьбе колхоза «Октябрьский». Нам отстроили новую школу, которая стала десятилетней.

В семьях механизаторов, что зарабатывали больше всех, появились первые

мотоциклы «Иж-49», мощнейшие машины — дикая зависть всех неимущих мальчишек. Тогда-то и произошло первое ЧП общешкольного масштаба.

Дело в том, что отцы лишь разрешали своим сыновьям иной раз покататься на мотоциклах. Но Вовка, тот самый, сын глухонемого кузнеца, заимел собственный «Иж». Как, на какие шиши — о том мы могли только догадываться. Вовка помогал в кузнице отцу, который его боготворил, — жили они вдвоём, жили тихо, мирно и как бы за спиной у деревни. Оба молчуны, один по природе, другой по натуре, с деревенскими общались мало... Возможно, каждая копейка шла в копилку, если однажды Вовка объявился на главной деревенской улице на сверкающем и неистово ревущем «Иже».

Он объявился не просто на главной улице, но у дома, где жила Лютик. Мальчишки, случалось, катали девчонок на мотоциклах, но никому не приходило в голову предложить покататься ей, нашей богине, никто просто не мог представить её обхватившей руками кого-то, с развевающимся подолом платья, со спутанными волосами и запылённым лицом...

Тут же кто-то увидел и рассказал всем, что из дома выбежала радостная Лютик, уселась на заднее сиденье, запросто обхватила Вовку за грудки, и они умчались за деревню, оставив деревне только мутно искрящийся шлейф пыли.

За годы, то есть с первого класса, мы привыкли к тому, что Вовка всегда при ней, просто при ней, как телохранитель, что ли... Ничего такого со стороны Вовки не замечалось, с её стороны тем более, да и смешно предположить было, что Вовка, вовсе не первый ученик и уж совсем не красавец, смел бы иметь надежды на что-то большее, чем просто «быть при...». Но вот подкатил и увёз неизвестно куда, и это повторилось через день и потом ещё и ещё...

Если бы кто-нибудь взял бы и унёс статую Ленина, что напротив правления, и установил бы в палисаднике своего дома... Нечто подобное совершил Вовка. Он стал для нас не только узурпатором, но и дискредитатором — мы ведь, к примеру, не могли представить себе, чтобы Лютик играла с нами в лапту: её дело смотреть, справедливо судить, выносить похвалы и порицания, но никак не носиться по поляне за мячом...

И первого сентября сначала весь наш восьмой класс, а потом и вся школа объявили суровый бойкот Вовке, сыну глухонемого кузнеца. В этой нелепой жестокости я лично принимал самое активное участие, и если бы потом, через год, не случилось бы ещё большего безобразия, то эти дни я мог бы считать самыми позорными и постыдными в своём детстве, хотя четырнадцать лет — это уже и не детство, это уже почти жизнь...

Лютик сначала не могла понять, что происходит, а когда поняла, возмутилась и пыталась воздействовать на нас всякими красивыми примерами из литературы, но разве может Бог увидеть себя со стороны, невдомек ей было, что Вовка покусился на образ, который мы сотворили в своём сознании и каковой был нам и дорог, и нужен, и, разрушившись, чего доброго, мог подломить нам коленки; она, Лютик, не имела права быть другой, мы бы этого не пережили, мы все сами стали бы хуже — так нам чувствовалось, — пусть все мы по уши во грехах, но кто-то должен быть и оставаться чистым, кто-то же должен своей чистотой и правильностью тыкать нас мордой об стол, и разве это не удача, если такой есть... Мы не отступили. Отступила она. Однажды в воскресенье Вовка как подъехал к её дому, так и уехал ни с чем. Лютик вышла к нему, но на мотоцикл не села, только простояла у калитки, пока Вовка не исчез за поворотом.

А ещё через месяц глухонемой кузнец с сыном перебрались в другое отделение колхоза, где ещё оставалось много лошадей и в кузнице было больше надобности — так говорили. Но мы-то знали. Вовка не пережил бойкота. Мы сжили его с нашего свету. Сжили и забыли о нём по причине несоизмеримости утраченного и сохранный.

В другое лето после восьмого класса Лютик с матерью впервые покинули нашу деревню — им разрешили посетить родные их места в Белоруссии. А когда незадолго до начала нового учебного года Лютик снова объявилась в деревне, все мальчишки без исключения пережили шок... Уезжала из деревни девочка, а вернулась девушка. И дело не в том, что стала Лютик ещё красивее, чем была, мы, мальчишки, — даже смешно вспоминать об этом — были поражены тем, что у неё, небесного создания, за одно лето выросла грудь, обычная грудь, как у других девчонок, у которых она выросла ещё раньше. И... со спины... Лютик тоже изменилась, и нам понадобилось некоторое время, чтобы свыкнуться с новизной образа...

Конечно, у всех у нас к тому времени уже были свои девчонки, с которыми мы, как говорилось, «ходили», что, собственно, и отражало существо отношений. Деревня хотя и стала центральной усадьбой, но все ещё в вопросах морали оставалась патриархально строгой. «Шупать» девчонок мы начали с восьмого класса. Прижмёшь где-нибудь в темноте и сопишь, прорываясь сквозь кордон сплетённых рук к мягким шарикам, девчонка подвизгивает, хихикает, сопротивляется будто бы изо всех сил, но, куда деваться, уступает, потому что мнение у них, девчонок, такое, что от этого дела груди растут быстрее. До десятого класса даже толком не целовались — такие уж мы были недоразвитые. Но что бы мы ни проделывали со своими девчонками, всё это было «втайне» и «втемне» и, значит, понималось как стыдное, чем нельзя хвастаться перед кем попало, разве только двум-трём самым близким друзьям в полушёпот: девчонок берегли от позора, нам-то что...

Притом мы были уверены, что Лютик, как и учителя и родители, даже не подозревает о наших проделках, что у самой у неё обо всём таком и мыслей не существует и не возникает и что если у неё и спереди, и сзади всё стало как у других девчонок, так это своеобразное несовершенство природы, которая так уж устроена, что не может соответствовать необычному, а может только по закону: свиною режешь — шкуру сдай, положены девчонкам груди и попка — растут, даже если не надо.

Именно в девятом классе Лютик вышла, как говорится, на всесоюзный уровень. Не сразу, конечно. Сначала в колхозе: вручение грамот — Лютик, переходящее Красное знамя — она же. Никто не спрашивал, почему секретарь райкома не сам вручает, а передаёт красивой девушке в школьной форме, и она уже и принимает, и в руки председателю колхоза подаёт, и при знамени остаётся. Тут её и «застукали» фотокорреспонденты — и районные, и областные, — тогда-то и случилось: приехали за ней на длинной чёрной машине и увезли в область за тридевять земель. А потом журнал «Огонёк», и там наша Лютик с Никитой Сергеевичем, и у Никиты Сергеевича на лице полный обалдеж от нашего Лютика. Это ему не какая-нибудь Фурцева! Был слушок, что привязался к ней в области известный киношник и уговаривал Дездемону играть и будто Лютик послала его подальше, в переносном смысле, конечно. Ещё не хватало, чтоб её какой-то негр душил!

Но пора мне уже рассказать и о самом чёрном дне моих — и вообще наших — школьных лет. Чёрным, понятно, он стал позже, и для каждого из нас по-разному,

но тогда, в тот день, всё свершалось, без сомнений, по велению чувства, названия которому так не нашёл и по сей день.

По обмену художественной самодеятельностью приехали к нам в деревню старшеклассники школы соседнего района. Был отдан нам на это мероприятие новый белокаменный клуб, на сцене которого гости играли для нас «Горе от ума». Чацкого играл этакий черноволосый красавец, играл, что говорить, здорово, как настоящий артист, и слова произносил по-особому, как в театрах принято, и жесты, и позы, и мимика — заглядишься и заслушаешься. Особенно это знаменитое: «Карету мне, карету!...» Мы, когда на уроках рассказывали, если кто с выражением, кто на горло брал, кто без выражения — проборматывал. А он сказал слова тихо, будто не карету просил, а пистолет, чтоб застрелиться, аж мороз по коже.

Лютик вручала цветы главному артисту. Нам уже тогда не понравилось, какой улыбкой он оскалился на неё. Ещё нам показалось, что Лютик, с достоинством вручавшая цветы самому Хрущёву, тут, перед этим прилизанным, будто бы засмушалась и даже голоском дрогнула едва. Возможно, уже с этого мгновения, с этой минуты напряглись все наши парни девятого и десятого классов. Потом были танцы. Лютик никогда не танцевала! Говорю об этом и содрогаюсь. Она не танцевала, потому что никто её не приглашал, как никому не пришло бы в голову пригласить на танец присутствующую учительницу. Что были наши танцы? Под «Рио-Риту» мы попросту дрыгались, под «Брызги шампанского» топтались и раскачивались, под польку дурачились, и только вальс танцевался, потому что под вальс иначе нельзя. Хотя бы на вальс-то могли бы приглашать её, всегда сидящую у всех на виду, но в стороне, ведь она же умела танцевать, мы убедились в этом, когда однажды директор школы пригласил её и закружил, а все остановились и потом хлопали — с директором другое дело. Странно, что и учителя словно подыгрывали нам в сотворении идола из обычной сперва «козьявки», потом девчонки, потом девушки.

Первым был вальс, и «артист» пригласил её, покрасневшую щёчками, засверкавшую глазками. Как они оба смотрелись! Будь «артист» чуть менее самоуверенным и чуть более внимательным, укололся бы взглядом любого из нас. Но где там! Мы-то обычно как: кончилась музыка, парень в одну сторону, девчонка в другую. А этот довел её до места, где она сидела, держа за руку, усадил и, что, как помню, мгновенно взбурило мою скабарскую кровь, этак чуть заметно поклонился, и она, Лютик, тоже этак едва головку вбок, а на лице улыбка — Боже мой, обычная глупая улыбка! Это у Лютика-то!

Но потом! Потом было танго. И он, гад, посмел прижать её к себе, и она не воспротивилась, и лицом к лицу, и глазами в глаза, и вот уже рука его с длинными пальцами на сантиметр, на два нарушила, пересекла границу допустимого, дальше, правда, не пошла, но уже всё! Он, этот хлыщ, не имел права жить, десятки глаз приговорили его, а он, уже приговорённый, продолжал вырисовывать всякие танговские кренделя...

Вспоминая, поражаюсь, как гибко сумело организовать наше маленькое стадо жрецов. Ведь никто ни с кем и словом не перемолвился. Но кто-то, не сговариваясь, вызвал-пригласил «артиста» покурить. Мести жаждали все, но всем выйти нельзя, заметят. Вышли несколько, человек десять, но как вышли: один из одного угла, не торопясь, другой из другого, незаметно, друг за дружкой. Я вышел одним из первых. Когда «артиста» аккуратно оттеснили от крыльца, тогда только он почувствовал неладное, заволновался, башкой закрутил. «В чём дело, ребята?» Во

дурной! Да разве кто-нибудь знал, в чём дело! Кто-то первый молча ударил его в лицо, не шибко, словно пробой проверяя правильность действия. И тут-то он, умник, совершил непоправимое — закричал с писклявым удивлением в голосе: «Да вы что, ребята, из-за девки? Да нужна она мне! Вы что...» Наверное, он ещё что-то мог сказать такое, чего мы не смогли бы пережить, потому враз все кинулись на него. Били по кругу, не давая упасть. Бить лежачего всегда считалось в деревне «заподло». Лично я ударил два или три раза — сколько смог попасть, удары были неточными, и я не был удовлетворён, всё рвался и рвался в кучу... Как мы не убили его, и поныне дивлюсь! Почти бездыханного, его сперва оттащили к ближним кустам, потом кто-то из десятиклассников подогнал мотоцикл с коляской и увёз его, как я узнал после — на самое крыльцо поликлиники подбросил, постучал в дверь и смотался.

Отмыв руки от крови, мы все так же молча, все так же по одному вернулись в клуб, где танцы были в самом разгаре. Лютик сидела на своём месте около стола с радиолой, как всегда, чуть улыбаясь, глазами искала его, гада, отрёкшегося от неё по первому удару. Сперва искала, потом глаза её прекрасные будто притухли, а на губах всё та же судорога улыбки — она страдала, и я готов был выскочить, найти и снова бить, бить... До смерти!

Потом была милиция, разборки, допросы. Ещё бы! ЧП областного масштаба. Дело закрыли, потому что мы все молчали, как утопленники. Целую неделю Лютик не появлялась в школе. Мы боялись её потерять, то есть мы боялись, что она придёт другой, какой мы её не хотим, мы очень боялись, и мы боялись молча.

Тогда не понял и теперь уже не понять, как она, Лютик, как она сама понимала свою роль в нашей жизни. Что она была идеалисткой в самом высоком смысле слова — это так. Но идеализм — весьма хрупкая штука, подчас вдребезги разбивается от столкновения с грубой реальностью, иногда с самым малым проявлением её...

Как бы там ни было, через неделю Лютик появилась в школе, и все мы вздохнули облегчённо, не обнаружив в её поведении никаких изменений. Правда, через некоторое время она нас всех удивила и даже встревожила. Очередное сочинение на тему «Мой любимый литературный герой». Мы ожидали, что она напишет про Овода или Корчагина... Лучшее сочинение — а лучшее всегда было её — зачитывалось вслух самой учительницей, и мы были ошарашены, услышав о Базарове, о призванности к великому труду, о неспособности его уклониться от долга и обречённости на одиночество и нелепую преждевременную смерть. Мы этого самого Базарова не шибко-то жаловали, и на перемене я поделился своим недоумением с девчонкой, с которой тогда «ходил». И она, эта визгунья и ломака, вдруг отстранилась от меня враждебно и сказала с презрением в голосе и взгляде: «Что ты понимал, дурак!» И демонстративно пошла к Лютику, обняла её и что-то шептала на ухо, в мою сторону даже не глянув.

Что до девчонок нашей школы вообще, то они особым бабьим чутьем ещё сызмальства усекли, что Лютик им не соперница, и возлюбили её по-своему — нежно, а над нашим отношением к ней часто посмеивались и ехидничали, а мы их ехидства не понимали и думали, что они просто завидуют и ревнуют. Это от них, от девчонок, узнали мы уже только в десятом классе, что сердце нашей богини поражено какой-то очень опасной болезнью, из-за которой она всё чаще и чаще пропускала уроки, что, впрочем, никак не отражалось на её успеваемости, и никто не сомневался, что золотая медаль ей обеспечена так же, как и филфак Москов-

ского университета, куда как будто бы Лютик собиралась поступать. Ей, золотой медалистке, открывались все дороги, по-другому и не могло быть...

От выпускного вечера в моей памяти осталась только процедура вручения аттестатов, да и не могло ничего больше остаться, потому что именно в те дни завязались у меня первые настоящие мужские отношения с молодой разведённой — дояркой, и, получив аттестат, я тотчас же умчался в доярочное общежитие, что при ферме в километре от деревни, где у ней была своя отдельная комната, и «проухался» там до самого утра. И последующие полмесяца пробалдел, ни о чём другом не думая, пока в деревне не поползли слухи. И однажды отец не шибко, но внушительно стукнул кулаком по столу: «Так что? Жениться будем или поступать в институт?»

Ничего, кроме взаимного удовольствия, не связывало меня с моей мягкой доярочкой, я будто очухался, засобиравшись в дорогу и вскорости исчез из деревни, не попрощавшись ни с учителями, ни с Лютиком: слухи о моём распутстве наверняка не миновали их. Мне было стыдно...

Но через год, после первого курса, я приехал в деревню победителем — студентом!

Лютик никуда поступать не поехала. Теперь она была заведующей нашей колхозной библиотекой. Я нанёс ей визит и был принят сердечно. Лютик искренне радовалась моему успеху, с удовольствием слушала рассказы про студенческую жизнь — я ведь думал, что я первый из нашего выпуска, кто объявился в деревне со студенческим билетом в кармане. Позже узнал, что был вовсе не первым, но каждый, кто приезжал, непременно приходил в библиотеку и уезжал, как я, с уверенностью, что поработал светлым лучом в тёмном и скучном деревенском бытии; не от хорошей жизни осталась Лютик в деревне — все та же болезнь сердца, но мы потаённо радовались тому, что наша богиня по-прежнему принадлежит только нам и никому больше...

Шли годы, свершались наши жизни, и все удачи, что случались или достигались, уже с привычной обязательностью фиксировались нами в крохотном кабинете заведующей библиотекой имени Павки Корчагина. Теперь понимаю, что систематичность наших посещений родительских гнёзд во многом стимулировалась фактом присутствия её, дивной женщины с самозванным именем Лютик. Более того, с годами потребность встречи с ней необъяснимо возрастала: жизнь корёжила нас каждого по-своему, кто-то озлоблялся, кто-то опошлялся или отчаивался... Посещения библиотеки, конечно, не исправляли нас, но как бы притормаживали развитие того дурного и гиблого, что вызревало в наших душах под воздействием опасной неоднозначности всего тогдашнего общественного бытия.

Лютик же, она будто бы и за двери своей библиотеки не выходила — она не становилась «взрослой», оставаясь всё той же романтичной идеалисткой, какой была в «пионерстве» и в «комсомольстве». Умом людей, познавших жизнь, мы понимали дикое несоответствие её душевного мира миру реальности, и тем не менее, нуждались в её суждениях и приговорах. Она восторгалась подвигом целинников и строителей всяких ГЭС, буквально сияла, пересказывая газетные вести о достижениях космической науки, всерьёз обсуждала очередные решения партии и правительства, и, ни на йоту не изменив наши собственные мнения обо всем этом, она, однако же, что-то определённо положительное поселяла в наших умах — некий остро дефицитный принцип взаимоотношения с миром, всё более теряющим в наших глазах привлекательность...

И жён мы привозили в свою деревню не столько на показ родителям, сколько на представление ей, умеющей оценить наш выбор непременно с какой-то неожиданной стороны...

Надо было видеть, как каменели наши жены при первой встрече с Лютиком. Не менее получаса требовалось им, чтобы особым женским чутьём просечь специфику культа...

Моя жена, помню, долго молчала после того, как мы покинули библиотеку, потом сказала: «Знаешь, она не настоящая... Таких не бывает. Может, она инопланетянка? Но тогда чем это ваша деревня заслужила?»

В последующие приезды уже не мы, а наши жёны спешили навестить библиотеку и нас туда сводить, как в баню или как в церковь. Отчего-то уверены бывали они, наши жёны, что Лютик благотворно влияет на нас, ненадёжных, с годами всё более страдающих «косоглазием», — это по поводу чужих жён и очень свободных женщин. И когда я однажды дал «левака» — в тот год и ещё год после в деревню не ездил...

Я поменял квартиру «на улучшение» и долго осаждал всякие инстанции по вопросу установки телефона. Вызов на переговоры на почтамт не на шутку встревожил. Отец тем летом пережил инфаркт... На почтамт прискакал за час до срока, истоптался у подъезда, изъёрзался на стуле ожидания. В переговорную кабину ринулся по приглашению, чуть не сломав дверцу.

Мать спрашивала, как я живу, какая у меня теперь квартира... Я почти прокричал: «Мама, ты чего звонишь-то?» Она вдруг замолчала, не меньше трёх раз я «проалёкал», пока она, кашлянув, откликнулась: «Знаешь, Лютик умерла... Сегодня похороны... Ты, наверное, не сможешь, да?...» Теперь я молчал, а она «алёкала»... Информация не постигалась. «Вот так, сынок, — говорила мать еле слышно, — осиротели мы... Хорошо умерла. Не проснулась, и всё...»

В деревню я мог попасть не раньше утра следующего дня. Я заподозрил, что мать специально позвонила поздно, отчего-то не хотела она, чтоб я присутствовал на похоронах. Будто берегла... Всё-то она знала про меня, мамулька моя. Я не хотел видеть Лютика мёртвой и понимал, что не увижу, даже если сию минуту помчусь на вокзал. Решил, что не поеду, но, проторчав в квартире не более получаса, вдруг заметался, засуетился, похватал кое-какие дорожные вещи, позвонил жене на работу и через пару часов уже сидел в вагоне поезда, лишь на минуту притыкающегося на станции, что в пятнадцати километрах от нашей деревни...

Свежую её могилу увидел сразу. Вся она была завалена уже повядшими цветами наших полей. Ни одного искусственного венка. Над могилой развесистая берёза...

Я смотрел на пёстрый холмик и говорил себе: «Там её нет. Там её не может быть. Я не видел, как её закапывали, и имею право верить, что она, Лютик жизни моей, ушла, просто ушла от нас всех, потому что устала служить нам. Она имела право уйти и ушла...» Я смотрел на могилу и слышал голос: «Меня зовут Лютик. Если меня так зовут, значит, есть такое имя».

Услышав шорохи за спиной, оглянулся. Плечистый косматый мужик в джинсовом костюме с маленьким букетиком лютиков подходил к могиле. На меня, не глянув, сказал глухим басом:

— Ты тоже опоздал? — И положил лютики отчего-то не на могилу, а рядом с ней, будто не хотел смешивать простенькие жёлтые цветочки с прочими цветами, неизвестно кем принесёнными.

— Вы кто? — спросил я.

Он поднял голову, глянул на меня недружелюбно, и я узнал его. Это был Вовка, сын глухонемого кузнеца. Он не ответил, словно догадался о моём узнавании.

— Я её всю жизнь любил. По-настоящему. Не так, как вы, дебилы. Это вы все загнали её в могилу. Она давно уже умерла от вашей тупости. Валил бы ты отсюда.

Я послушно попятился от него и от могилы, хотя не был согласен с ним принципиально. Я бы мог сказать ему, что красота спасёт мир, и многое что ещё мог бы сказать в возражение, говорить я, слава Богу, научился, ибо жил в эпоху поголовного трёпа...

Через пятнадцать лет после смерти Лютика эпоха завершилась катастрофой, но в моём сознании эти пятнадцать лет спрессовались в некую безвременную плотность, и теперь, когда глотну рюмку-другую, утверждаю упрямо и категорично, что как только Лютик умерла, так всё сразу и рухнуло, а все прочие причины вторичны, и, кажется, что, думая так, просто легче выжить...